

1

## СЕНТЯБРЬ

Все гонят, все клянут,  
Мучителей толпа...

*А. С. Грибоедов*

**Я** должен вас разочаровать, уважаемая Нина Серафимовна, слово «уезд» как производное от глагола «уехать» в русском языке отсутствует. — На бескровной, водянисто-мучной физиономии Червячилы нет и тени улыбки.

Червячила — на самом деле его зовут Вадимом, но так его никто не зовет — вполне оправдывает свое прозвище: длинный, узкий, как одностворчатый шкаф, он уязвляет взгляд какой-то дряблой бледностью, которую оттеняют черные с большим блеском жиденькие прямые волосы до плеч,

*Это было, кажется, уже в этом тысячелетии, но, безусловно, еще в ту эру, когда не пришло ОНО. То есть ЕГЭ. Короче, светлой памяти реформ господина Фурсенко и его соратников посвящается.*

белая рубашка с распахнутым воротом и темносиний костюмчик, напоминающий о вихлявых танцах шестидесятых годов: узенькие коротковатые брючки и гаденький, маленький — словно снятый с тщедушного пятиклассника — пиджачок, застегнутый на одну пуговицу где-то повыше пупка. Глаза Червячилы — за стильными узенькими стеклышками очков — смотрят куда-то в район моего виска или уха, так что мне трудно определить их цвет — кажется, выцветший голубой. Мне еще ни разу не удалось перехватить Червячилин взгляд, хотя Червячила иезуитски вежлив и даже — не в пример остальным — встает, когда обращается к препода. Препод — это я. Нина Серафимовна. Если вы вздрогнули от такого отчасти неожиданного отчества, то представьте, каково мне, двадцатидевятилетней долговязой бездельнице, которую до нынешнего сентября величали исключительно Нин-

кой, Нинелью, Нинелью-Шрапнелью, Ниночкой — нет, это раньше, и то только бабуля... И каждый раз, когда я слышу эту жуткую, незнакомую, но очевидно враждебную «Нину-Серафимну», сердце ухает в бездну, из которой вот-вот выскочит она — неумолимая и безжалостная Нина-Серафимна, доисторический завуч с квадратными каменными икрами, мощным державным бюстом и страшной головой с торчащими шпильками из обязательного пучка... и пылающий взгляд из-под выщипанных в ниточку бровей... И в тот миг, когда мне удастся спастись — вынырнуть из бездны, чудом избежав столкновения с Ниной-Серафимной, я с особым садистским (или мазохистским?) удовольствием говорю себе: «А ведь Нина Серафимовна — это, Ниночка, ты. Теперь ты. Потому что одна. Теперь одна. Страшная фурия, эринния и вообще черт знает что. И никто тебя, Ниночка, не назовет Нюркой, Никоношей, а еще — почему-то — Никитой и — в особенно пронзительные задыхающиеся минуты — Свинойной — да, вот так, на коротком обрывающемся вздохе — какая же ты, Свиноина, классная!..» Меня на секунду обдаёт волной обжигающей звериной нежности и тут же начинает подташнивать от казенного равнодушия, разлитого в чужом воздухе аудитории...

— Уезд — это обозначение территориальной единицы в царской России. — Голос у Червячили тоже какой-то водянистый, бесцветный, старинные романисты, наверное, написали бы — «жиденький баритон». — Наряду с губернией или волостью. Ну, скажем, Пошехонский уезд Ярославской губернии. Как-то так... А уезда Чацкого никакого нет — тем более уезда Чацкого из Москвы — как вы изволили выразиться...

И Червячила аккуратненько садится, предварительно обернувшись и посмотрев назад и вниз — за свой тощий зад — убедиться, что стул все еще под ним, — предосторожность, надо заметить, совершенно не лишняя, ибо сзади, за последней партой, круглый Вася. Вася-качок, Вася-спортсмен, Вася-болельщик. Свою страстную любовь к известной сине-белой футбольной команде Вася выражает с помощью сине-белого шарфа — чистого, точно он только что снят с манекена в витрине, а также с помощью очень красивого мягкого — видимо, из хорошей замши — пенала — синего с тоненькой белой каймой, с помощью шариковой ручки — белой с синим круглым набалдашником, на котором что-то нарисовано, но мне от доски не видно, а также тетрадей, обложки которых украшены фотографиями неизвестных мне джентльменов в сине-белых и бело-синих трусах и майках... Однако Васе сейчас не до остроумнейших манипуля-



ций со стульями — хочешь отодвинь, а хочешь — кнопку или тщательно разжеванную жевательную резинку... В данный момент Вася, затаив дыхание, внимает каждому слову Червячиного спича, не вникая — ибо бесполезно — в смысл, но чужа смертный час училки-дрочилки, которую сделали по полной, опустили как последнюю лохушку. И не успеваешь Червячинин тощий зад опуститься на стул, как Вася взрывается ликующим хохотом, напоминая, несмотря на свой вполне оформившийся семнадцатилетний бас, счастливого младенца, когда тот с ложкой в руке и творожком на щеках восседает на высоком стульчике за общим столом и от души, но старательно смеется вместе с взрослыми, делая секундную паузу, чтобы счастливо взглянуть сначала на маму — «А? Хорошо смеемся?», потом на папу — «Ну, мужик, ты и сказал!», а сияющие родители, отсмеявшись шутке и уже забыв о причине веселья, вновь растворяются в смехе, который есть не следствие искрометного остроумия, но чистейшая — без малейших примесей интеллектуальных усилий — любовь. Так и сейчас одиннадцатый «А», проникнувшись Васиным младенческим восторгом, хохотал.

Смеялись все. Смеялась тихая троечница Виолетта — она, правда, не написала еще ни одного

сочинения — собственно, потому, что еще не выдавали, но Виолетта с ее смиренным темно-русым хвостиком и небольшими серыми глазами на худеньком личике не могла быть никем иным, кроме троичницы. Смеялись — рядышком друг с другом — оба Савелия на задней парте справа, смеялись так, что казалось, и прыщи на их физиономиях трясутся, подскакивают, сталкиваются в воздухе и в новой, но не менее отвратительной хаотической конфигурации приземляются — чтобы вновь впиться в измученную кожу. Смеялась совершенная Зоя — искренне, но сдержанно и благородно, как и подобает стройному совершенству, смеялась, точнее, выдавливала на высокомерно искривленные губы снисходительный смешок Зоина смазливая соседка Мила. Смеялись и остальные — те, чьи имена еще не впечатались в мою память, так что все эти юные весельчаки оставались пока безликим хором, оттеняющим мощное выступление солиста Васи. Однако временное отсутствие индивидуальности не мешало этим безымянным гаденышам смеяться с той же самоотдачей, что и оба Савелия, и Виолетта, и Зоя с Милой. И Вася. Особенно, конечно, Вася.

Не смеялся только высокий глазастый Карен — он что-то писал — и еще мы с Червячилой: не смешно, да ведь и этим не так чтобы очень смешно. Ну, подумаешь, «уезд Чацкого»... Ну, «Пошехонский уезд»... И почему — Пошехонский? Чуть какая-то... Чему смеются? Почему? А почему смеются над Чацким все эти уроды — Тугоуховские и прочие Загорецкие? Что, так смешно? Мочи нет, как смешно? Ну, зануда, согласна, зануда. И пафосный очень. Но ясно же — довели, достали, допекли. И прям спасу нет, как смешно, когда человеку больно — так больно, что только и остается — про себя, самому себе, с изумлением — «Все гонят, все клянут, мучителей толпа...». И вдруг — спохватиться и посмотреть во круг невидящими глазами — неужели вслух?

И когда так больно, что хочется одного — просто не быть, вдруг приходит восхитительная злость. Не та мелочная, жалкая, унижительная злость, от которой чувствуешь, как краснеет линия роста волос и скукоживается голос, а другая злость — парящая и дерзкая — как освобождение, как истина, когда вдруг — уродам в лицо: ну вы — уроды с того света!.. Но нет, не туда: препод так не должен, препод — он же, блин, гуманист. Нельзя детям говорить, что они уроды, даже если они уже не совсем дети и уже совсем уроды, все равно нельзя, так как дети могут расстроиться и повеситься, осознав, что уроды. И им станет мучительно стыдно оттого, что они гонят и клянут

того, кто так умен, остер, красноречив и славно пишет, переводит... Стоп. А вот это уже совсем не туда: славно пишет — это про кого угодно, только не про меня.

Думаю, мне в детстве не диагностировали дислексию или дисграфию только потому, что о них тогда у нас слыхом не слыхивали, списывая все на старую добрую ребяческую лень или на общую детскую тупость организма. Возможно, подобное невежество отечественных эскулапов спасло не одного сегодняшнего читателя (подозреваю, что и писателя). И, разумеется, меня, потому что бабуля — без всякой медицинской и какой бы то ни было еще заграничной помощи — читать меня все-таки научила. К третьему классу, но научила. Конечно, я до сих пор не знаю, как правильно пишется — «винегрет» или «венигрет», а когда утомляюсь, путаю слоги, буквы и даже звуки, но читать читаю. И даже много. Т. е. не поймите меня неверно: я много читаю не от тяги к знаниям (в этом никем и прежде всего собою замечена не была), а от общей хилости — когда у меня падало давление, а это случалось часто, бабуля оставляла меня дома, ну и надо же чем-то себя занять.

Вы, наверное, подумали, что я эдакая тургеневская барышня или какая-нибудь чеховская Мисюсь — тонкие запястья, затуманенный взор и всякое такое? Если бы! Метр семьдесят восемь и кроссовки тридцать девятого размера.

— А! — обрадовались вы. — Так ты, Ниночка, модель? Или нет — тебе ведь уже двадцать девять — бывшая модель?

Опять нет: сколиоз. Т. е. вы, может быть, этого и не заметите — от зависти, потому что задница у меня все-таки подобранная, но вердикт профессионала — когда я в десятом классе по секрету от бабули все же пришла в Дом моды — такое огромное здание в центре города, и очень известный профессионал заставил меня встать почему-то на стол, — вердикт был однозначен: не то. Обидно ужасно: отсутствие бюста, общее состояние интеллекта — вполне для модели, но — не то. И уши какие-то неправильные, и сколиоз. Сколиоз — это искривление позвоночника, и если я в майке, вы — от зависти, разумеется, потому что общей моей стройности и длинной шеи никто не отменял — вы ничего не заметите, но вот в платье с голой спиной — нельзя: мой двоякоизогнутый позвоночник повторяет форму доллара. Понятное дело, не самой купюры, а знака, то есть буквы. Я, собственно, как ни пыталась искривиться перед зеркалом, никакого доллара у себя так и не увидела, но Митя часто рисовал его пальцем на моей голой спине — вот так, прямо по линии позвоночника... S — са-

мая щекотная буква. Даже когда представляю ее себе, щекотно. И когда пишу тоже.

— А как пишется: «Пошехонский» или «Пашехонский»? — Карен поднял на меня честные карие глаза и прекратил писать.

— Кажется, по... — Какой «Пошехонский»?! Не пиши! — От ужаса, что Пошехонский уезд Чацкого теперь навсегда — пусть и в рукописном варианте, но задокументирован, я сорвалась на крик и даже перешла на «ты». — О господи! Не пиши это!

— Как это «не пиши»?! — возмутился Карен. — Папа сказал: все, debil, пиши, а то в Куршевель не поедешь! Все, сказал, пиши — лично проверю! Ты должен учителя уважать... и учительницу тоже — так папа сказал. — И Карен посмотрел на меня распахнутым взором.

Издевается? Я старательно вглядывалась в неправдоподобно большие карие Кареновы глаза — а ресницы-то, ресницы — в полщеки! — но ничего в них прочитывать не могла. «Издевается!» — решила я.

— Карен, — я отвела взгляд, — я допустила грубую стилистическую ошибку. Вы же слышали — нет слова «уезд»... Я просто хотела сказать, что... Чацкого... Что Чацкий уехал, что символизирует, что он... уехал...

Нет, какая все-таки сволочь! Нет, видишь ли, такого слова — «уезд»! И что мне теперь делать, если у меня так в тетради написано и я вызубрила этот «уезд» ночью, понимая, что на месте ни одной фразы не сложу? А эти гады пишут под диктовку, да еще с традиционными вопросами «а перед "который" запятая нужна?». А ты стой и думай — нужна или не нужна... и это какой, блин, «который», где там у меня «который», если я сложно-подчиненными не изъясняюсь?! И как мне, блин, теперь сформулировать, что Чацкий не просто уехал, а от всех этих гадов уехал, от старух этих безумных, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором... от сволочей этих уехал — с их зваными обедами и балами, с их презрительно поджатыми губами, с их Куршевелями, с репетиторами, с маленькими кокетливыми собачками — такими, которые полагаются к французскому маникюру и взгляду сквозь... уехал, не потому что он голодранец или изгой — ха! Ничего себе изгой — с министрами в Петербурге: «с министрами про Вашу связь, потом разрыв...», а потому уехал, что он теперь один, потому что смертельный удар уже нанесен — и кем нанесен! Кем?! Да только один человек может нанести такой удар — тот, кто знает тебя как никто, знает лучше, чем ты, знает то, что ты про себя никогда — хоть искрutzись перед зеркалом...

— Извините, Нина Серафимовна, что вмешиваюсь. — Червячила вежливо поднялся из-за парты. — Вы, видимо, хотели сказать, что отъезд Чацкого — смею вас заверить, Нина Серафимовна: в русском языке имеется слово «отъезд», — что отъезд Чацкого символизирует разрыв героя с косным московским обществом... Косный — без «т» — проверочное слово «косен». — И Червячила сел, посмотрев, разумеется, назад и за себя — за свой тощий зад. Ибо сзади Вася.

Нет, что «косен» без «т» — это я как раз помню, вроде помню... Ну да, славно писать бабуля меня так и не научила. И переводить. Собственно, и в институте не научили — за все восемь лет моего обучения.

— А почему за восемь? — спросите вы. — Неужели, Ниночка, была еще аспирантура?

Какая, на хрен, аспирантура — с тремя тройками в дипломе — по морфологии, словообразованию и стилистике...

— Нин! Да никто от тебя творческих свершений не ждет! — успокаивал меня в среду Пузырь. — Дети блатные, за всех проплачено. Расслабься. У них — у каждого! — свой репетитор и не один. Твоя задача гнать программу от Грибоедова и до упора... и ставь оценки. Да, раскадровку занятий я тебе дам — Алена оставила. Ну, проверяй посещаемость — за них же деньги платят — иногда родители приходят, интересуются.

Пузырь — с тех пор, как я окончила институт, — удивительно похудел, так что при своем довольно высоком росте мог бы даже казаться стройным, если бы не какая-то мягкая сдутость, выдающая всех бывших толстяков... а еще бескостные и безвольные руки — брр! ни за что и никогда!.. Пузырь мигал на меня очень розовыми веками и не мог скрыть гордости: а как же! — мало того, что мачо и кандидат наук, так еще и заместитель директора экстерната, профессора Барыбина — по совместительству папеньки Пузыря, такого же, как и сынок, сдутого толстяка с задумывающейся походкой... Так вот, папенька Пузыря, всемирно известный специалист по приставкам и известный всему институту ловчила — говорят, в старые добрые соцреалистические времена он был комсоргом, профсоргом и парторгом факультета — наверное, последовательно, хотя если мне скажут, что одновременно, я не особо удивлюсь, так вот, папенька Пузыря, профессор Барыбин, придумал в постперестроечные десятилетия организовать экстернат — прямо при институте, чтобы облегчить жизнь деткам богатых родителей, а то бедные богатые детки утомляются ездить сначала в бесполезную школу, а потом к полезным репе-

титорам. А тут сразу — утром занятия в группах в институцких аудиториях (не совсем, конечно, утром, а часов эдак в двенадцать, чтобы бедные богатые детки успели выспаться и добраться — каждый на личном водителе — до института), а вечером занятия частные — это уже за отдельные бабки и дома у профессуры, куда утомленного ребенка после ресторана или кафе, разумеется, доставляет личный водитель.

— Это, понятное дело, не уровень Рублевки — те в других заведениях учатся, но... В основном отпрыски наших выпускников, есть даже и преподов — ну, тут отдельная плата, ты же знаешь. — И Пузырь выразительно на меня посмотрел, намекая на мое личное знакомство с деканом.

Мне всегда становилось неловко оттого, что Пузырь переоценивает степень моей близости к верховным кругам института, полагая, что без вмешательства высших сил чудес не бывает, а что как не чудо есть диплом «Тема искусства в поэме Венедикта Ерофеева "Москва — Петушки"».

— У тебя самый спокойный класс: ярко выраженных наркоманов не наблюдается, обычные раздолбаи. Ну, есть футбольный болельщик — тупой, но не злой. У него папа хозяин банка. Есть дочка саксофониста. Есть еще внук — нет, не саксофониста... не помню как зовут — увидишь, красивый — внук ТАКОГО-то. — И Пузырь назвал известную даже мне при моей политической амнезии фамилию всенародно известного дедушки красивого внука. — Не знаю, почему его не послали в Оксфорд (думаю, Пузырь имел в виду все-таки внука, а не дедушку, поскольку дедушку в Оксфорд отправлять явно не следовало: в знании английского дедушку заподозрить было сложно, а на русском дедушка выдавал такие перлы, что вся страна охала — Хармс! чистый Хармс!). Но парень хороший, и Алена говорила, что вроде даже не тупой.

Алена — наша с Пузырем однокурсница, стильная блондинка со знанием английского, — провела у одиннадцатого «Б» два занятия по литературе и внезапно вышла замуж за английского бизнесмена — видимо, ирландца по происхожде-

нию — нет, ну точно ирландец, видела бы, какой рыжий! — представляешь, — Пузырь восхищенно тарачил глаза, — красно-рыжий, как на картинке! — Но как бы Пузырь ни восхищался, я ему не верила: весь институт знал, что Пузырь навсегда, смертельно, страдальчески влюблен в Алenu.

Собственно, из-за рыжего меня и взяли на работу: Алена вышла за него и уехала, а тут пятница и заменить некем — у всех занятия, вот тут-то Пузырь и вспомнил про меня.

— В штат тебя, разумеется, никто не возьмет — без степени ты вообще преподавать не имеешь права... Короче — вторник и пятница — и ты свободна. Ну, разумеется, проверяй сочине-

ния. Будут проблемы с русским, — Пузырь хмыкнул, — звони. Икончай дрейфить — обычные дети, разве что богатенькие.

К пятнице я ненавидела всех обычных детей и особенно богатеньких — я ненавидела тупого, но не злого болельщика, я искренне ненавидела высокопоставленного внука и — от всей души — ненавидела дочку саксофониста

и вообще — всех-всех-всех, включая мне пока не известную, но обязательную в каждом классе красавицу-стерву, местную Пэрис Хилтон в гламуре и с сумкой Tod's.

...Как жестоко я ошибалась! Красавица-стерва оказалась совсем не красавицей: Зоя — а ее звали Зоей — была похожа не на Пэрис Хилтон, а на настоящую подиумную модель — какие вошли в моду уже после Клаудии Шифер, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон... Знаете, эдакая породистая некрасивость с ломаным профилем узкого бледного лица, а еще неправдоподобно легкие движения и точеные, как будто всегда чуть вздернутые, как бывает у очень худеньких и грациозных детей, плечи. И никакого дешевого гламура: джинсы, майка и блестящие светло-русые волосы, собранные в высокий хвост. Правда, сумка вроде действительно Tod's. Я такую хотела в прошлом году. И в этом хочу. Хотя нет — сейчас я ничего не хочу, даже сумку. Знаете универсальный метод — как легко определить, что у тебя депрессия? Если не хочется новую сумку — это депрессия предпоследней стадии.



Еще в классе обнаружилось два Савелия — они, как Бобчинский и Добчинский, сидели рядышком на последней парте справа и беззлбно тарачились на меня всеми своими прыщами. Непонятно, почему Пузырь не предупредил о такой оказии — два Савелия и оба с прыщами, — видимо, хотел сделать сюрприз.

Может быть, вы подумали, что я вру — сразу два Савелия в одном классе — кто в это поверит! Иной раз на всю школу ни одного приличного Савелия не наберется, а здесь сразу два. Фантазерка ты, Ниночка, и идеалистка, — скажете вы. А вот и нет, никакая не идеалистка. Жил же раньше под нами — в смысле под нашей с бабулей квартирой — на первом этаже Варфоломей. Знаю, знаю, вы мне ответите: во-первых, он был один, двух Варфоломеев бабуля уж точно не выдержала бы, а во-вторых, он был не Варфоломей, а Федя. Но бабуля, а с бабулиной легкой руки и весь наш одноподъездный дом называли Варфоломея исключительно Варфоломеем. Врать не хочу, но, по-моему, он откликался. А собственно, было так: Варфоломей — добродушный такой увалень старше меня лет на шесть — ну да, когда я училась классе в пятом, он был уже студентом — и вот тогда-то, курсе на первом, Варфоломей и проявился во всей своей красе. То ли родители у него на раскопки уехали — они вроде археологи были, то ли они оглохли сразу на все четыре уха, но факт остается фактом: как-то теплой майской ночью Варфоломей (он тогда еще не был Варфоломеем) врубил диско — да-да! не рок, не фанк, а самое что ни на есть старинное разухабистое БОНИ-М.

— Ра-ра-РаспутИн — ла-ла-ла-ла — Рашн Квин, — колотилось снизу в пол так, что страшно было смотреть на сейсмическую активность ковра.

Я не знаю, наслаждался ли Варфоломей один или с гостями — вибрацию РаспутИна не смог бы перекрыть ни один танцпол, но РаспутИн и прочий БОНИ-М ЖАРИЛИ всю ночь. Мне, если честно, даже нравилось, но утром бабуля, дождавшись Варфоломея в подъезде — прямо возле его квартиры, строго и с достоинством сказала:

— Вы мне это, Варфоломей, прекратите!

— Я не Варфоломей... — оробел Варфоломей. — Я Федя. — И затравленно оглянулся на меня.

— Вар-фа-ла-мей! — отчеканила бабуля безапелляционным тоном.

А когда бабуля говорит таким тоном, любому — и даже Варфоломею — ясно: возражать не стоит. И поскольку Варфоломей не возражал, он

постеснялся спросить о причинах своего нового имени — а то бабуля рассказала бы ему про Варфоломеевскую ночь и как католики перерезали всех гугенотов. Но, может, Варфоломей «Королеву Марго» читал, потому и не спрашивал...

Но, что вы думаете, Варфоломей утихомирился? Ничуть. В ту же ночь продолжились католически-гугенотские страсти по РаспутИну. И тогда на следующий день бабуля не стала встречать Варфоломея на лестнице — вот еще — снова?! — это не в стиле моей бабули! Она спокойненько отправилась к себе в редакцию — бабуля работала литературным редактором в одном толстом журнале, а вечером вернулась с таким вдохновенным и сосредоточенным лицом, что стало ясно: стратегия грядущей Варфоломеевской ночи уже продумана, осталось только постичь все тонкости тактики. И где-то к одиннадцати часам вечера — только началось «Ро-ро...» — бабуля села за фортепиано. Боюсь соврать, но мне кажется, в платье и даже в туфлях-лодочках. Ну а прическа у бабули всегда была что надо — даже не сомневайтесь: представьте себе балерину на пенсии — ну или графиню — не подумайте, ни балериной ни графиней бабуля не была, просто вид такой. Устроившись за фортепиано, бабуля окинула меня светским взглядом и сказала: «Совсем ты у меня невежда — не знать ни одного танца — ни вальса, ни фокстрота... да что там — ни одного па из "па-де-катр" — это позор! Прежде всего мне позор! Что сказал бы дед Андрей!» И мы с бабулей обе посмотрели на стену — на фотографию деда Андрея. Но дед Андрей — в военной форме и с зачесанными назад светлыми волосами — только смеялся на нас светлыми-светлыми глазами и был, как всегда, как-то по-киношному красив. И вот под одобрительный взгляд деда бабуля сначала наиграла мелодию, а потом вышла из-за пианино и показала несколько движений — вот так, да-да, так... ладно, сейчас главное — поймать дух танца, точность придет потом, а пока... марш надевать туфли — нет, нет, обязательно те, с каблукком! — снимай ковер — да, да — просто сдвинь его в сторону — и...

Бабуля крепче уселась на табурете перед пианино — и...

— Полька-бабочка! — вдруг взревела бабуля.

Я вздрогнула — честно, вздрогнула — и бабуля как шандарахнет по клавишам... И еще, и еще... и мне: «А ну, Нинка, иди!»

И я пошла! Я не уверена, точно ли это была полька-бабочка или какой иной полонез, но я пошла. Вот это, скажу я вам, был танец — даже не сомневайтесь, какой танец! В общем, пианино

гремит, я скачу, каблучками наяриваю, еще, конечно, что-то ору... И тут — о чудо! — Ра-ра-Распутин затих. И по всему нашему одноподъездному дому разлилась тишина — даже телевизоры везде повыключали, чтобы не пропустить ни одного па нашей свирепой польки-бабочки.

В наши политкорректные времена бабулю уж, конечно, лишили бы всех родительских прав, а меня бы отправили в колонию для трудновоспитуемых подростков. Ну и кому бы от этого было хорошо, спрашивается? А? Явно — не соседям: они ведь только сначала замолчали со всеми своими телевизорами, а потом очень даже поддержали наш танец — прямо как футбольные болельщики — криками и барабанной дробью по батарее. Особенно старался какой-то пронзительный старушечий голос с верхнего этажа: «Давайте, девочки! Вжарь, Нинка!» Кажется, это была тощая такая генеральша — в нашем доме жили семьи военных. Мой дед ведь тоже полковник — только он умер за несколько месяцев до рождения — нет, не моего рождения: моего папы.

Так что я в известном смысле закалена — меня сложно напугать каким-нибудь новым Варфоломеем. Но два Савелия — это, знаете ли, даже для меня чересчур.

— А Алена Дмитриевна скоро вернется? — Савелий — тот, который слева, явно не хотел меня обидеть, он просто по-детски интересовался, где хорошая тетя Алена.

— А разве вам не сказали, что у вас теперь я?

— Как?! Насовсем?! — Мила округлила глаза и слегка полуоткрыла рот — совсем как в Голливуде, когда, даже если выключен звук, видно, что произносят разочарованное WOW. Мила явно гордилась своим WOW: в сочетании с загаром и

коротенькой маечкой в принтах оно смотрелось почти естественно.

— Ну, надеюсь, все-таки не насовсем. — Я посмотрела прямо в Милины глаза: «Удавиться со своим WOW» должна была прочитать Мила в моем взгляде. Мила прочитала, уверяю вас, прочитала. — Не насовсем, а на девять месяцев — до июня. «У тебя, может быть, дом почти на Рублевке, — продолжала я смотреть в Милины глаза, — а еще папа с автомобилем с откидным верхом и мама с платьем от-не-знаю-хрен-кого... но тебе никогда не стать героиней фильма. Максимум — подленькой соперницей/подружкой главной героини... И даже если главная героиня в полной жопе или у нее, скажем, всего одна приличная юбка, она все равно — героиня, потому что она... потому что у нее...» Я не могла придумать, «что она» или «что у нее», но что она героиня, чувствовала точно. Я, не отводя глаз, выдержала паузу и повторила:

— До июня... если мне не надоест. — Лениво сморгнула и снова вдавила взгляд в Милины зрачки.

— А если нам надоест... что у нас учитель с Пошехонским уездом Чацкого? — Мила не сморгнула.

Меня как будто ударили под дых.

— Жалуйтесь, то есть стучите. — Я, не выдыхая, слегка пожала плечами и только теперь медленно и не глядя посмотрела на остальных. — А еще читайте Жуковского. Это задание ко вторнику, если кто не понял. Всего хорошего.

И, взяв старенькую сумку модели BIRKIN — единственную мою поддержку в мире юного подлого гламура, пошлак двери, чувствуя, как смешки ударяются в мою выпрямленную спину. И только выйдя из аудитории, выдохнула.